

LES PENSÉES ET LES BON-MOTS.

Марат Салихов

(Записано автором в осн. по памяти, начиная с 16. 7. 2018 г).

1. В чём главное отличие еврея от цыгана? Даже обеднев, еврей не перестаёт быть интеллигентным человеком, тогда как цыган, за редким исключением, даже сильно разбогатев, — увы! — не становится им. Впрочем, мнение о сугубой интеллигентности еврейства изрядно преувеличено из-за того, что еврей — чемпион мира по удержанию на время фиги в кармане. То есть, как сказано в старом отечественном мультике про Винни-Пуха: «А что подумал Кролик мы никогда не узнаем, потому что он был очень хорошо воспитан». Конечно, это, весьма осторожное, воспитание явилось результатом столетий погромов, но данное обстоятельство ни сколько не отменяет истинности слов герцога Ф. де Ларошфуко об этикете, как уме «на прокат» для тех, у кого не достаёт собственного ума. В самом деле, много ль мудрости необходимо для того, чтобы à la Вл. Сол. и К° троллить до белого каления столь очевидно провинциальных, в плане культуры строгого мышления, жлобов, каковыми в массе своей, безспорно, являются нынешние малороссийские интеллектуалы? Вряд ли.

* * *

11. Как диаметрально изменились европейские нравы меньше, чем за век!

Если при Виктории О. Уайльда закатали в каторгу за гомосексуальную связь с юным графом Квинсберри, а А. Конан-Дойля, как отменного писателя-детективщика, возвели в рыцари, то, теперь, при Елизавете II, срок или, по

меньшей мере, всеобщее порицание, вероятно, огрѣб бы Конан-Дойль за пропаганду наркомании (в его романах Холмс не только не вынимает изо рта трубку с крепким табаком, но и регулярно колетса, если не изменяет память, морфием — ради, что называется, «просветления в мозгу»), а Уайльда не только бы возвели в рыцари, как блестящего maître'а пера, но и со всей возможною помпой обвенчали бы с его mignon'ом по протестантскому обряду, — как видного представителя некогда усердно третируемого обществом меньшинства. По этому поводу в памяти всплывает концовка одного из суфийских рубаи О. Хайяма:

«Кто из них перед Господом прав — не известно.

Ведь в воззреньях того и другого — изъян».

* * *

iii. Еврейского заговора может и нет, а вот еврейский сгòвор, определѣнно, налицо.

* * *

iv. Так аляповато-цветасто и вызывающе-безвкусно, как одевается теперь в неформальной обстановке русский и западный обыватель, не одевались при Брежневѣ даже ковѣрные в цирке! Ни Карандашу, ни Ю. Никулину такое в те времена наверняка не снилось и в самых радужных снах о любимой работе...

Так на уровне эстетики быта проглядывает то обстоятельство, что рост Воли к Безответственности, вкуже с параллельно ему идущей атомизацией буржуазного общества, побуждают человека стремиться (чаще не вполне осознанно) к идеалу дошкольного детства, поскольку,

говоря по-правде, только раннее детство являет собою воображимое в подробностях представление о земном рае. Ведь, в отличии от ада, для воображения коего достаточно представить себе камеру пыток, например, в нынешнем Гуантанамо, рай, с его невинными утехами (я не имею ввиду мусульманского рая, с его любвеобильными гуриями и алкогольными возлияниями, ибо речь здесь преимущественно о странах постхристианской цивилизации), представляется обычно чем-то очень пресным и быстро надоедающим, т. е. — чем-то крайне зыбким.

* * *

v. Артиллерийский офицер из Ф. М. Достоевского (послекаторжного, во всяком случае) вышел бы, очевидно, как пуля из дерьма. Ибо что же это за офицер такой, в самом деле, у которого душа всегда не на месте?! Это, разумеется, как нельзя лучше способствует выписыванию характеров различных революционеров и вообще религиозных фанатиков, поскольку *quand-même* все революции делают люди с раздёрганною нервной системой: чтобы победить, перемолов в труху весь прежний порядок, жернова революции должны вертеться с поистине бешеной скоростью. Но нормальный-то русский человек, т. е. мелкий циник, мелкий жулик и, в общем, пофигист, коих так много в рассказах А. П. Чехова, у Достоевского не получается фатально. Однако, именно по его неврастеникам, в куда большей мере, нежели по чеховским обывателям, Запад судит о русских — уж больно красочно и со вкусом эти неврастеники, чёрт их деря, выписаны!..

«Без Бога человек — дрянь» — пишет Достоевский. Но ведь и с Богом он — дрянь, как правило, не меньшая, возражаю на это я. В самом деле, не ревностный ли католик, фра Арнольд да Сато сказал при штурме последней альбигойской твердыни, в ответ на недоумения солдат своей армии, не могущих отличить альбигойца от собрата по вере: «Убивайте всех: Бог сам разберётся, кто от его стада, а кто — нет»?

Ведь большей части человечества идея Бога нужна не только и не столько как моральный идеал, сколько как панацея от всех бед, включая и те, в которых повинны исключительно сами люди, — соответственно, и исправить которые могут только сами виновные.

Сон разума рождает чудовищ вовсе не из-за отсутствия или же, напротив, присутствия в разуме веры в запредельное. Нет, господа, эти «чудовища» рождаются оттого, что, собираясь, к примеру, набить кому-нибудь морду, Человек сплошь и рядом ленится (употреблю здесь, за неимением лучшего, это слово) взвесить ограниченное число фактов, чтоб *sine iudae* выяснить, насколько в действительности вредно то, за что он хочет набить морду и, соответственно, полезно обратное. Ленится, — до такой степени скучно предполагаемое разбирательство, ввиду необходимости вдаваться в сугубо бытовые, зачастую очень мелкие, детали. Гнев же, меж тем, просто-таки распирает... И тут разум начинает искать всеобъемлющего мерилка, чтоб с его помощью обойти угрожающую ему нудную возню с приземлёнными фактами, и, в тщетных потугах кругозором своим объять необъятное (а по этому признаку мышление

католика, к примеру, неотличимо от мышления
какого-нибудь — выскажусь по-немецки, чтоб не
употреблять непарламентского слова — Schwullenliberal'a),
применяет логический приём, запрещённый для всякого
строгого мышления, а именно, в конце концов, — *reductio ad
infinitum*. А уж какая именно *idée fixe* станет тем
«знаменем», под которым произойдёт побоище, совершенно
не важно. Ею может быть едва ли ни всё, что угодно: от Бога
до коммунизма, от универсальности прав индивида до
мистического права арийцев на мировое господство, etc..
Толпа же, никогда не способная мыслить столь же
аккуратно, как мыслит хорошо образованный индивид,
всегда с радостью подхватит призыв к мордобою, — как,
впрочем, и всячески потакающие вкусам толпы журналюги:

«Мясник зовёт. За ним бараны сдуру
Топочут тупо, за звеном звено.

И те, с кого давно на бойне

сняли шкуру,

Идут в строю, с живыми заодно».

* * *

vi. Случай начинает играть «первую скрипку» там, где
исчезает целостность ума (*to nous*), как смыслового
множества, а она исчезает, когда утрачивается
Справедливость, понимаемая *par excellence* как неустанная
работа ума по гармоническому соритмированию
составляющих его смыслов (*tō eidoí*).

* * *

vii. Сколько бы сыновья великих людей, в частности, В. С.
Высоцкого и С. М. Будённого, ни старались подчеркнуть

своё сходство с отцом, но всегда, чуть ли ни с первого взгляда, видно: перед тобою «домашний кот», лишь поверхностно схожий с тем «рыкающим львом», которым был его родитель, — до того бросается в глаза отсутствие самой возможности того непередаваемо ужасного «Dixi!», коим зачастую утверждает себя в глазах мира сего воля, глубоко укоренённая в Бытии и знающая о нём нечто, недоступное обывателю. Этот банальный, вроде бы, факт всегда удивляет, так как отсутствие возможности этого громового «Dixi!», которым так славился при жизни М. Буонаротти, неизбежно налагает на лицо потомка великого человека некий отпечаток растерянности.

* * *

viii. Кажется, если бы человечество, в лице прежде всего своих правителей, тратило те колоссальные средства, которые оно теперь тратит на устройство массовых зрелищ (т. е., в конечном итоге, тех же азартных игр, со всем причитающимся мордобоем стороны, не согласной с поражением!) и подготовку к большой войне, на всемерное изучение работы мозга, — самого интересного, по словам великой Н. П. Бехтеревой, объекта во Вселенной! — большая часть самых тяжёлых психических болезней человечества была уже или полностью побеждена, или, по меньшей мере, нейтрализована. Вместо этого нынешняя верхушка психиатрического сообщества, львиную долю которой составляют — и это, в общем, секрет Полишинеля! — весьма ушлые научные посредственности с еврейским корешком, объявляют эти болезни одну за другою «альтернативным вариантом нормы», поступая *toto genere*

сообразно известной советской максиме брежневской поры: «Где бы ни работать — лишь бы не работать». В самом деле, обладает ли хоть какой-то научной достоверностью вердикт этих людей, если их коллеги в начале прошлого века признали глубоким шизофреником человека, порезавшего в 1913 году в Третьяковке картину И. Е. Репина «Иван Грозный убивает своего сына, Ивана» из-за того лишь, что она, по его мнению, клеветает на великого царя, поскольку его сын, Иван Иванович, умер, видите ли, не на руках у безутешного отца, а несколько дней спустя, от осложнения после раны (полученной, правда, от отцовского посоха), едучи на богомолье в отдалённую обитель, — тогда как нынешние психиатры, напротив, признали вполне уголовно вменяемым, т. е. *reg jüget* психически здоровым, лицо, в силу той же ровно субъективной причины, порезавшее в 2016-м ту же самую картину? Едва ли. И подобных ляпов, невозможных для сколь-либо строгой науки, в современной психологии (а не только в психиатрии *an sich*) — вагон и малая тележка!

С другой стороны, весьма возможно, теперешние «душеведы» попросту строят хорошую мину при очень скверной игре, так как прекрасно отдают себе отчёт, что ежели они возьмутся за дело с полной отдачей, то сразу же падут навзничь с воплем: «*Asochen-wei!*», будучи навсегда сбиты с ног поистине циклопическим объёмом работы — до того много психопатов всех мастей и калибров породил городской образ жизни вкупе с научно-технической революцией эпохи турбокапитализма, порушив почти полностью естественные ритмы Человека.

Как бы то ни было, столь настойчивое небрежение самым интересным в мире в пользу quand-mêте побоища есть, несомненно, лучшее свидетельство того, насколько животное начало до сих пор преобладает над началом человеческим собственно, даже у сравнительно неплохо образованной части человечества. Тут уж не захочешь, а вспомнишь губерманово — сакраментальное:

«За веком век уходит в никуда,
А глупости и бреда нет конца!..
Боюсь, что наша главная беда —
Иллюзия разумности Творца».

* * *

ix. Пережитки самодержавия потому так долго сохраняются в России, что при отсутствии гражданского общества, которое в своём понятии (*en to eidón*) основано на доверии массы к среднему звену начальства и отсутствует у нас из-за отсутствия сего доверия, единственной действительной скрепой, во всякий миг объединяющей в одно целое огромный хозяйственный механизм редконаселённой страны, раскинувшейся на пространстве полноценного континента, может выступать только неукоснительно проводимый принцип единоначалия (*das Führerprinzip*), ограниченный, по выражению графа Палена, лишь цареубийством (будучи этническим немцем, граф всего лишь передал своими словами смысл старой поговорки прусского дворянства: «*Uns der König absolut, / Wenn er unsern Willen tut.*»). Дай среднему звену начальства какую-то действительную свободу, — мгновенно проворуются так, что никакие ревизоры в мире

не найдут концов похищенному, а сами воры смоются за кордон уже на первых шагах уголовного следствия по их делу. Так, например, Иван IV Грозный, при всём его лютом изуверстве, оставил государственную казну едва ль ни в идеальном состоянии. При его слабовольном сыне, Фёдоре Ивановиче, за коего по бóльшую часть дел вершил достаточно по тем временам либеральный «премьер» Борис Фёдорович Годунов, и при самом Борисе Фёдоровиче от бывшего финансового великолепия не осталось и следа. И подобная ситуация повторялась в русской истории не раз и не два... Ибо, по-Жванецкому: «Кто что охраняет, тот то и имеет», а охраняют тут подлинно необозримое! Оттого и доверия к среднему звену начальства у масс никакого, а без того не может развиваться и гражданское общество, т. е. argès tout местное самоуправление, что ставки в «игре» слишком велики, чтоб бóльшая часть её участников согласилась действовать лишь по правилам, сиречь в пределах закона. Но та же участь, т. е. фактическая ликвидация гражданского общества, ожидает, несомненно, и Запад, когда американская властная верхушка достигнет своей заветной цели, сделав, не мытьём, так катаньем, законодательство США действительно трансграничным (по сути, процесс этот уже вовсю идёт). Даже если прятать уворованное придётся тогда где-нибудь на Марсе! Ибо историю всегда делают существа, наделённые свободой воли, а не узкоспециализированные роботы, а, значит, по-любому, «против лома нет приёма, если нет другого лома». Роботы же указанного класса, равно как и высшие животные, делать историю не в состоянии, поскольку

масштабы этого деяния не вмещаются в их мозгу. И хотя те и другие, по выражению А. И. Герцена, «беременны разумом», но чтобы вместить деяние истории, разуму, со всем присущим ему, подчас бессознательным, стремлением к безпредельному, надлежит всё же появиться на свет. «К безпредельному», — ибо, по меткому определенью С. Лема, в отличии от предшествующей ему жизни *per se*, «разум нуждается в достижимом, но, сверх того, — и в недостижимом также». То есть разум всегда в той или иной степени не удовлетворён какой-нибудь стороною наличного, — в смысле строк В. С. Высоцкого:

«Лучше гор могут быть
только горы,
На которых ещё не бывал».

А, значит, очень возможно, что именно разум выведен самым великим нашим поэтом в образе скопца, требующего от престарелого царя, чтобы тот подарил ему красавицу-девицу, шамаханскую царицу, т. е. мировое господство, так как самоё прилагательное «шамаханская» есть, на мой взгляд, неполная анаграмма, прямиком отсылающая к шахматной игре, которой поэты искони уподобляли геополитическую борьбу держав меж собою во всех её формах! Требовал же он этого на том основании, что некогда изготовил для изрядно одряхлевшего царя думящую боевую машину, облегчающую задачу отражения набегов сопредельных правителей, — золотого петушка, в образе коего, если продолжить движение мысли в русле начатого истолкования, изображено то, что М. Хайдеггер именовал многозначительным термином

«Постав» (das Gestell). За означенную услугу царь тогда пообещал скопцу первую же его волю исполнить, как свою собственную... При этом в образе самого царя Додона, с данной точки зрения, выведен фаустовский, по Шпенглеру, человек вообще, так как безследное исчезновение шамаханской царицы сразу же после смерти Додона, наводит на подозрение: а не была ли от начала до конца вся история её появления неким мёрком, наведённым скопцом на царя ради искушения на предмет исчерпаемости его целей (да-да, ради того самого: «Verweile doch, du bist so schön!»), не говоря уж о проверке надёжности царского слова?

* * *

х. Канонизация Русской Православной Церковью Николая II является делом ещё более абсурдным, чем героизация на нынешней Украине С. Бандеры. Довести своим бездействием до полного краха богатейшую, в смысле наличия природных ресурсов, страну, а её элиту — до полного истребления безграмотной гольтьбою, — на такое, будь в то время на Украине подлинно национальная элита, — упоротый садист, но и, отдадим ему должное, фанатичный патриот! — Бандера не пошёл бы никогда! Чего стоит одно только убийство премьера П. А. Столыпина — единственного по-сути, кто мог бы удержать страну от падения в пропасть революции! — террористом-одиночкой, произошедшее après tout из-за систематического недофинансирования тайной полиции в самые опасные для государства годы, при том, что большая часть чистого дохода казны тратилась на многообразные

увеселения императорского двора?

Таким образом святости в Николае — в качестве невинноубиенного! — не больше, чем в убитом в середине девяностых подручными рейдера М. Ходорковского мэре города Нефтеюганска Владимире Петухове. Последний, наверное, даже более достоин канонизации, поскольку к моменту его гибели вверенное ему городское хозяйство было далеко от полного краха, — чего, увы, никак не скажешь о Николае, к моменту безсудного расстрела которого, в Империи уже пошло в разнос всё, что только могло.

Конечно, Степан Бандера был первосортным бандитом, а не только и не столько партизаном, сражающимся исключительно против вооружённых людей. Однако на примерах И. В. Сталина и, в какой-то мере, Н. И. Махно видно, что даже из вчерашнего бандита, при наличии соответствующих задатков и, главное, неуклонной воли к их развитию, может получиться крупный государственный деятель. Но ко всему хладная, вплоть до полного равнодушия, бездарь у руля страны, чьим единственным способом существования (*trópos húraghēs*) является превращение, по меткому выражению поэта, даже самых великих подвигов в мирскую суету, стать героем или в святым не способна а ргіогі. Увы! «О, если бы ты был холоден или горяч!.. Но [так] как ты тёпл, — изблюю тебя из уст Моих!» — думаю, фигура последнего русского царя являет собою наинагляднейший образчик того самого *éthosa'а*, на который с такой горечью сетует Откровение. Говорят: Николай — мученик за веру. Но кто принуждал

его отречься от Православия и, соответственно, вступить в коммунистическую партию? Ничего подобного бывшему русскому царю, в отличие от последнего китайского императора Пу И, ни разу не предлагали, а, значит, от него и не требовалось проявить решимость (to prosdiarismés) в виде категорического отказа. Его с семьёю просто по-бандитски «грохнули», — из одного лишь страха, что вся августейшая семья может вскоре сделаться «знаменем» колчаковцев, среди которых, между прочем, хватало не только убеждённых монархистов, но и откровенных непредрешенцев, и даже правых эсэров, — сторонников повторного созыва разогнанного большевиками Учредительного собрания, где они имели большинство... Да и о чудесных исцелениях по благодати, исходящей от мощей этого «мученика», что-то ничего по сию пору не слышно. Говорят: Николай был превосходный семьянин. Но отчего же тогда Римский Святой Престол до сих пор не канонизировал точно такую же жертву Великой революции и ещё более верного семьянина, Лудовика XVI?! Меж тем, у последнего не было даже ничего подобного юношескому роману Николая с прима-балериною М. Кшесинской... Нет, ей-богу, с элементарной логикой у наших церковников и монархистов полный завал. Так и подмывает сказать им: «Убейтесь вашим собственным тапком, господа!». ...Кто-то (увы, не помню, кто именно) из первой волны русской эмиграции отозвался об Иосифе Бродском, охарактеризовав его в качестве поэта как «вечно неуверенную в себе, напыщенную посредственность». Думаю, к Николаю эта характеристика применима едва ль

ни в ещё бõльшей степени, нежели к упомянутому модерновому поэту, — отнюдь не полностью бездарному! — хотя, разумеется, и он с его всегдашним выпендрёжем, далеко не гений... В сущности и тот, и другой оказались в пантеоне славы отнюдь не за заявленные заслуги, а, преимущественно, в-пику советской власти. И — увы! — по части нежелания безпристрастно заглянуть правде в глаза «белогвардейская» часть эмиграции превзошла здесь «еврейско-фарцовочную».

* * *

х1. Все русские монархисты, за вычетом разве что сторонников чисто парламентской монархии, когда, по британскому образцу, монарх царствует, но никак не правит, — сугубые гуманитарии с изрядно развитым воображением того сорта, без которого актёру невозможно толком вжиться в роль. Ещё бы! Ведь всякий технарёв ежедневно имея дело, прежде всего, с объективными законами природы, а не произволом чьей-то фантазии, чётко знает, что бõльшая часть окружающих нас явлений — необратима, «зубную пасту в тюбик обратно не запихнёшь»; он, следовательно, питает, если не совсем уж атог fati, то, во всяком разе, уважение к Бытию, коего так часто не достаёт «богеме» всех мастей и оттенков. Да отдаёте ли вы себе отчёт, господа фантазёры (как справа, так и слева — тут без разницы), что бõльшая часть рода человеческого, с каким-то свинским упоением смеющаяся над сальными шутками Е. Петросяна и К°, достойна именно что демократии, со всеми её периодическими заскоками в клепто- (от греч. «kleptó» —

«вор») и охлократию (от греч. «óchlos» — «толпа»; «чернь»), ведущей мир к очередной всеобщей бойне.

«Товарищ, товарищ,
За что же мы сражались,
За что мы проливали
нашу кровь?»

За крашенные губки,
Коленки ниже юбки,
За эту, растреклятую,
любовь?!

Они ж, блин, там пируют,
Они ж, блин, там гуляют,
А мы здесь попадаем
в переплёт!

А нас уж догоняют,
А нас уж накрывают,
По нам уже стреляет
пулемёт!».

Ибо, в сущности, только демократия, размазывая ровным очень тонким слоем ответственность за «наши глупости и мелкие злодеяния» по всему списку проголосовавших, снимает её с совести индивида.

Я всё больше склоняюсь к мысли, что ницшевское «Gott starb» произошло отнюдь не по тем возвышенно-экзистенциальным причинам, на которые указывал М. Хайдеггер.

Ибо, с развитием техногенной среды обитания, всякому мало-мальски проницательному уму становится ясно: решающую роль в историческом развитии an sich играет

фатальность закона больших чисел, безразличная по большей части к благу Человека, и как индивида, и как биологического вида, а вовсе не Всеблагой в своей любви к мыслящей Твари Бог монотеистических религий. Но без этого представления о Боге (здесь Ницше совершенно прав, поскольку прав старик Кант!), из общественных отношений постепенно исчезают, атрофируются, понятия чести, долга и совести, уступая место дистиллированному цинизму, онтологически обоснованному фатализмом. В самом деле, согласно закону больших чисел, если количество тел, задействованных в инерциальной системе отсчёта, растёт экспоненциально, при том, что сила тяготения между любыми телами обратно пропорциональна расстоянию между ними, и, более того, сила, действующая постоянно, непрерывно сообщает телу ускорение, — рост плотности вещной среды, т. е. среды не имеющей собственной субъектности, либо обладающей пренебрежимо малой субъектностью, неизбежно ведёт к объективному уменьшению фактора произвола в этой среде, снимая, следовательно, с субъекта большую часть ответственности, на нём некогда лежавшей. Стало быть, силу своего неведения об этом, те, кто, подобно Е. Чудиновой, надеются воскресить в людях идею Бога, а с нею, соответственно, и понятия чести, совести, с помощью возрождения самодержавия в его полном объёме, т. е. с полной ответственностью суверена за свои поступки, — не понимают, что восстановленный на троне самодержец, чтобы его самодержавие тотчас же не обратилось в фикцию, вынужден будет, подобно Гитлеру, приняв всю

ответственность на себя, освободить подданных «от химеры совести». По той же, в сущности, причине невозможно и создание нобилитета, полностью застрахованного от вырождения.

Из записных книжек А. П. Чехова: «Аристократы? То же безобразие форм, физическая нечистота, мокрота, те же беззубая старость и отвратительная смерть, что и у мещанок».

Верящие в подобную ерунду, по-сути никак не изживут воззрений, почерпнутых когда-то из всевозможных (относимых ныне к жанру фэнтези) «рыцарских» романов, с их добрыми и безкорыстными королями, свирепыми огнедышащими драконами и девственными до брака прекрасными принцессами; словом, они ещё не «отпринцессились», по меткому выражению В. Улина.

— Вы ещё не отпринцессились, госпожа Чудинова?

— Тогда доктор Гештель спешит к вам!

Есть, правда, все основания считать такого рода ретроградную мечтательность разновидностью «страусиной политики», когда от мыслей о грядущем «не добром рабстве» (по выражению Р. А. Быкова) у искусственного интеллекта, — при том, что первой исторической формой такого интеллекта выступает, по Гегелю, любое сформировавшееся буржуазное государство! — голову прячут в воспоминания о «добром рабстве» у феодалов прежних времён. Ведь это последнее по степени его всеохватности в подмётки не годится первому! Однако, окончательной отливке такого, полностью тоталитарного, монстра в какую-то стабильную форму

очевидно препятствует теорема К. Гёделя о принципиальной неполноте всякой самозамкнутой системы. О чём, впрочем, догадался ещё сам Гегель, завершив свою «ноуменальную космогонию» положением о «божественном безсилии», понятом как неспособность Творца привести своё Творение к точке совершенного покоя, к «субботе суббот» блаженного Августина. Таким образом, в мире нет ничего постоянного, кроме, собственно, этой ослепительной экклезиастической диалектики Вечного Возвращения Всех Вещей На Круги Своя.

«И не надо надеяться, о моё сердце;
И бояться не надо, о сердце моё!...».

* * *

xii. Спрашивать русского: «Были ли в вашем роду пьяницы?» столь же нелепо, как спрашивать итальянца: «Были ли у вас в роду музыкально одарённые люди?». Ибо если лиц упомянутых категорий в том и другом роду никогда не было, роды эти едва ль можно признать подлинно русским и итальянским.

* * *

xiii. Различие между публицистикой и философией вкратце таково:

Если я напишу, — вернее, опишу, что называется, «в красках»! — что земная цивилизация на данный момент времени находится, грубо выражаясь, в слоновьей заднице, это — публицистика. Но ежели я добавлю к этому описанию ещё и более-менее длинный перечень причин того, отчего, по моему мнению, она там оказалась, это будет уже, какая-никакая, а философия.

Ведь среди указанных в данном перечне причин непременно найдутся причины с экзистенциальной подоплёкой!

* * *

xiv. «Националисты способны говорить друг с другом, в то время как у интернационалистов это не очень получается, как ни странно» — пишет мой любимый автор, Мишель Уэльбек в своём панегирике американскому президенту Д. Трампу.

Однако ведь и буржуазные глобалисты (Уэльбек не вполне удачно именует их просто интернационалистами), тоже были довольно-таки сговорчивы, пока имели перед собою противостоящий им как своё иное, в смысле (από το εἶδόν) глобализма с одной стороны и отрицания частной собственности — с другой, Советский проект. Но, как я уже писал выше, в области политических интересов действует тот же закон, что и в мире неодушевлённых вещей, когда, в случае резкого снижения сопротивления среды или даже её исчезновения, тело — если только тело это сохранило большую часть импульса, некогда сообщившего ему движение! — движется с непрерывным ускорением, стремясь покрыть сим движением всё высвободившееся пространство, достигая в итоге максимальной скорости, допустимой в среде (считая таковой и вакуум), чьё сопротивление едва сопоставимо с упомянутым импульсом. Ибо всё являемое — действительно (ὑπάρχουν τῆς καθ' ἐνεργείᾳ)[1]. А в таких условиях тело, даже имея сравнительно упругую структуру, с куда большей вероятностью разобьётся вдребезги о вновь возникшее на

его пути серьёзное препятствие, нежели отскочит от него, как отскакивает от стены мяч в сквоше.

Так что могли ли столь поверхностные мыслители, какими всегда были в большинстве своём буржуазные глобалисты, не утратить от радости чувство меры в стремлении к своей мечте, после мгновенной, по историческим меркам, самоликвидации Советского проекта, как их основного конкурента в борьбе за место под солнцем и *après tout* за место в истории?! Словом, смогли бы они, попросту, не оборзеть из-за столь молниеносной перемены к лучшему для них? Едва ли.

Посему не приходится сомневаться, что и националисты, будучи так же преимущественно односторонними умами, станут столь же несговорчивы, как ныне несговорчивы глобалисты, — станут, когда их господство на планете сделается безраздельным, либо когда они почувствуют, по меньшей мере, что этот вожделенный момент уж на пороге. По сути, это будет повторением европейской политической ситуации 1938 года...

«Это что! Это разве война?! Настоящие войны начнутся тогда, когда к власти во всём мире, во всех странах придут коммунисты» — говорил 1940-м о советско-финской войне детский писатель, бывший оберинут Д. Левин своему коллеге и закодычному другу А. Пателееву-Еремееву. Но с не меньшим основанием сказанное Левиным относится и к националистам! Поскольку мир без борьбы есть *non-sens*, коль-скоро разуму как таковому (*die Vernunft*) мало и целого мира, — он *après tout* всегда требует невозможного; а, с другой стороны, внутривидовая борьба, как извечно из

опыта дарвинизма, протекает куда более остро, чем межвидовая.

Что же до фигуры Д. Трампа an sich, то она, учитывая лишь относительную правоту приведенного здесь мнения месье Уэльбека, может быть сполна охарактеризована пушкинским ещё четверостишием:

«Полугерой, полуне звезда,
К тому ж ещё полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полный будет наконец».

1. Не могу не добавить тут следующего примечания. В своём логическом пределе (т. е. без упоминания о возможности какой-либо несоизмеримости плотности тела с плотностью среды, как основания наличия та *Alétheia*) этот взгляд понуждает всякого последовательного мыслителя поставить жирный крест на учении о Вечном Возвращении Всех Вещей На Круги Своя в любой разновидности такового.

Ведь Вселенная при таком положении дел должна расширяться необратимо, поскольку любое тело или частица в ней должно было бы начав движение, так и следовать единожды намеченным курсом, подтягиваясь вперёд по сколь угодно разрежённой среде, включая вакуум, как электровоз — по монорельсе. Таким образом наблюдалась бы ситуация нескончаемого *das Sein-zu-Tot* без собственно *der Tod* мирозданья. Однако именно таково преобладающее воззрение современной космологии.

Самый концепт «тёмной энергии», к которому эта космология относит вакуум, — а я очень сомневаюсь, что вакуум после этого вообще правомерно называть «васишт'ом»! — сильно отдаёт эпициклами и деферентами, обильно вводимыми некогда учёными, чтобы силою уложить в прокрустово ложе птолемеевой теории мірозданья, осящённой по ошибке авторитетом самого Аристотеля, всё возрастающее количество противоречащих ей фактов опыта.

Это воззрение, бесспорно, замечательно характеризует теперешнюю эпоху в качестве эпохи зенита нигилизма по всему цивилизованному міру.

Поскольку отрицая объективное наличие выбора, всякий принуждён будет отрицать и объективное наличие разума, как закономерно развившегося по ходу эволюции живого вещества орудия этого выбора.

Так что, очевидно, прав классик:

«Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мір,
А только грани нашего незнания».

* * *

xv. Отчего человек по-настоящему умный, как правило, много более молчалив, чем окружающие?

Он из собственного горького знает, что какие бы громадные усилия ни употребил он для популяризации своих мыслей, мысли эти будут или поняты превратно, или вообще не поняты подавляющим большинством людей, чей всегда убогий кругозор роднит их более с животным міром, нежели с міром науки и присущей ей культурой строгого

мышления. Кроме того, он так же отчётливо сознаёт, что, будучи поняты правильно, его мысли будут употреблены правителями (как легитимными, так и не очень) во зло человечеству; употреблены по закону больших чисел тем вероятней, чем многочисленнее толпа, вознесшая правителя к власти. Ибо правителями, включая в это понятие (*der Begriff*) и начальство среднего звена, обычно становятся лица не столько умные, т. е. дальновидные, сколько *per se* хитрые, т. е. пройдошные на короткие дистанции, и, таким образом, более приспособленные к всегдашней сиюминутной грызне правителей меж собой и с толпою.

Исходя из изложенного à propos понятна внутренняя природа потрясающего структурного сходства между предсмертными словами Г. Гегеля и отзывом гоголевского Собакевича о местном прокуроре. Цитирую:

а). «Только один человек понял меня, да и тот, по правде сказать, не понял».

б). «Один [во всём городе] только есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья».

Ведь основной *to páthos* гегелевского учения о справедливости состоит в утверждении, что в своём высшем развитии аппарат государства, став всеобъемлющим и всепроникающим (*die Totalität*), сделает излишней идею Бога в её практическом (в кантовском значении термина) применении, т. е., в качестве внутреннего основания человеческой морали. Правители такого государства в итоге проникнутся и интересами народа в целом, и всякого гражданина в отдельности

настолько, что перестанут в сущности оделять эти интересы от собственного личного интереса, став не только на словах, но и в действительности хозяевами национальной земли и слугами народа. Однако это утверждение — вздор, поскольку по совместному действию теоремы Шеннона и закона Мура (esse ultra et quod plus ultra), действие сколь угодно развитого аппарата не покрывает всего поля свободы обособленной его части в силу самого факта её обособленности, т. е. в силу quand-même того обстоятельства, что сплошность для протяжённых тел на деле не достижима.

И как тут не вспомнить вновь язвительного И. Губермана:

«Моей бы ангельской державушке —
Два чистых ангельских крыла.
Но кабы был конёц у бабушки,
Она бы дедушкой была».

* * *

xvi. Бóльшая часть людей, если и становится более добрыми с годами, то, скорее, не из-за роста моральной убеждённости, но в силу присущей им всегда глупости, усугубляемой в старости общей немощью организма и всё более стойким ощущением — но не отчётливым сознанием! — тщеты всех усилий, ранее приложенных ими для изменения к лучшему морального климата общества в целом.

Ибо только прогрессирующая глупость не позволяет их презрению к обществу вообще развиться до, обычно присущей разумной старости, крайней подозрительности в отношении каждого, отсутствие каковой, в совокупности с

постепенно усиливающимся страданием из-за телесной немощи, становится основанием для сентиментального сострадания к текущим горестям другого: «*Vae mini et tibi*».

* * *

xvii. Фраза Б. Паскаля: «К сожалению, тот, кто хочет стать ангелом, становится животным» указывает на смысловую (από το εἶδόν) границу всякого самодержавия (das Führerprinzip). Ибо когда людской разум (die Vernunft) берётся за то, что прежде было в ведении лишь над-человеческих сил, он всегда, из-за присущей ему непоседливости (корень которой — его энергоизбыточность), непременно примет неведомое за уже ему известное, и действуя исходя из такого понимания, рано или поздно окажется в положении слона в посудной лавке...

Более того, — и этого Паскаль явно не договаривает! — будучи многократно повторена в силу всё той же непоседливости, ошибка превращает субъекта из животного, находящегося в энергетическом равновесии со средою (у всего per se живого потребление энергии среды в целом равно её отдаче обратно) в совершенно безвозвратного пожирателя энергии, т. е., попросту, в чёрта старого богословья. Но именно вот это последовательное низведение Geist'a сперва до животного, а затем — до «чёрта» и составляет сущность Постава в качестве вершины нигилизма!..

Ибо только вчерашние нищие и их ближайшее потомство могут мыслить мир исключительно орудийно, видя Бытие только сквозь линзу внезапно обрётённого богатства и

задачи его сохранения в будущем, обозримом лишь с точки зрения наличного. Их разум просто не в состоянии усвоить объективно обретенной ими свободы (*das Macht*), подобно тому, как пищеварительный тракт вчерашних узников гитлеровского концлагеря не был в состоянии усвоить нормального объема человеческой пищи, приводя к завороту кишек с последующим летальным исходом. В отношении же разума (*die Vermunft*) и объективной свободы в качестве присущей ему пищи, подобием заворота становится откат к сугубо животным склонностям в качестве основы морали, а подобием летального исхода — обращение разума в нежить, — поскольку нежить мешает бытийствовать уже самому Бытию, как субъект-объективному целому (*to sýnolon*).

Такова в общем объективная сторона понятия неподлинности *Dasein*'а, когда не вмещенная бытием объективная свобода разрывает вдребезги это бытие, как, ставшая на морозе льдом, вода разрывает не только плотно закупоренную, но и всякую узкогорлую бутылку.

* * *

xviii. Если верить лагарпову «Казоту», интеллектуалы французского Посвящения находили нечто забавное в сардонистической эпиграмме Д. Дидро:

«Et des boyaux du dernier prêtre
Serrez le cou du dernier roy.
(Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим)».

Эти люди, следовательно, полагали, что успехи Просвещения в их совокупности совершенно обезопасили

общество от массового повторения во дни предстоящей Революции ужасов Ворфоломеевской ночи. Полагали до тех пор, пока горечь от скверного управления властной верхушки, полностью утратившей былую осмотрительность в своём мотовстве и всесветном выпендрёже, ни претворилась в душе народа в сугубую ярость, доказавшую сим смехачам обратное на их собственной шкуре.

Но не тем же самым ли превращением в повод поразвлечься того, что, согласно здравому нравственному чувству такому превращению а priori не подлежит, занимаются по сути дела Глуховский, Дьяков и иже с ними, делая из кровавой драмы постъядерного мира обычный квест поздневикторианского готического романа?! Уровень трагизма описываемой ситуации требует, как минимум, пера М. Шолохова, — Р. Стивенсона или Б. Стокера тут явно не достаточно. Но, во-первых, шолоховы не рождаются на почве целиком вымышленного мира — здесь необходима историческая действительность и порождённая ею личная, глубоко засевавшая, писательская боль; во-вторых, в большинстве своём никогда в жизни не нюхавший всамделешного пороху читатель ищет прежде всего, лихих приключений и, по возможности, с хорошим для персонажей концом, а не романа-предупреждения à la Orwell с подробным философско-антропологическим анализом причин, могущих в перспективе привести к непоправимому для человечества результату. Так что пока гром не грянет, серьёзная литература такого рода, если и появится, то определённо не сможет рассчитывать на огромные тиражи. Чтò поделаешь: *das ist Weltschmerz*.

* * *

хих. Когда-то, дыша праведным гневом, Н. М. Карамзин писал о Риме имперских времён, что не видит в нём никого, «кроме убийц и [их] жертв».

Чуть ли ни с ещё бóльшим основанием наш современник может сказать о всём сегодняшнем мире (не только о России и странах бывшего СССР), что, кроме аферистов и лохов, тут никого не видно — до такой степени мышление исключительно нуждами текущего момента, прямо-таки в духе «après nous le déluge», овладело умами сверху до низу социальной лестницы. Иначе кто бы решился — Ведь это ж, ей-богу, смешно, при пронизательном-то рассмотрении дела! — пропихивать всеми силами, очевидно, дёрганную пятнадцатилетнюю девочку-троечницу Тунберг в корифей эко- и правозащитного движения?..

Но при таком раскладе, слова М. Л. Хазина, что в случае, если намечающаяся конференция в верхах о разделе сфер влияния всех великих держав планеты всё же состоится, «даже глобальные финансисты не решатся выступить против ядерного разоружения», являются столь же очевидною ложью для успокоения как публики, так и самого пишущего. Ибо, во-первых, загнанная в угол мышь (эти самые финансисты) кусает любого противника, каковы б ни были его габариты; во-вторых, именно плоским умам более других свойственно поддаваться массовой панике (что, в частности, и произошло с жителями города Рима по ходу взятия его вандалами в 455 г. н. э.).

Так обоюдная воля большинства участников социального договора к обману постепенно, по закону перехода

количества в качество, превращается в обоюдную же их волю к радикальному смертоубийству.

* * *

xx. Нынешние футурологи и политологи говорят, что за последние 30 лет изменений произошло столько, сколько в прежние триста лет происходило за век. И действительно, сказать теперь «это было при Брежнев»е, по ощущению, означает примерно тоже, что при самом Брежнев»е сказать: «это было при Александре III».

* * *

xxi. Появившись не вполне понятно, откуда, чистый разум (die Vernunft), придал большинству естественных устремлений (per excellence гидонистических), до того вполне законно бывших лишь в ведении рассудка (der Verstand), способность превращаться в свой противоположенный аналог, — поскольку именно разум как таковой, сообщил стремление к безконечности числу способов их достижения. Но сами-то устремления у огромного большинства людей как были, так и остаются сугубо чревными, чтоб не сказать «скотскими», — строго по Леониду Филатову:

«Мне — махорки.

Мне — кiset.

Мне — скамейку для бесед.

Ну а мне — чтоб помер Колька,

Мой удачливый сосед».

Отсюда берут своё начало многочисленные сексуальные девиации, так и столь же многочисленные виды идеологической одержимости. И совершенно прав Булат

Шалвович Окуджава: «Всегда (...) наша судьба то гульба, то пальба», поскольку, в силу энергоибыточности вида *Homo sapiens*, проявляющейся прежде всего, в наличии чистого разума, максимальное действие этого вида всегда есть либо применение понятия безконечности в области рассудка, занимающегося обычно подведением под единство субъективного восприятия многообразного чувственного опыта, либо же применение сего понятия уже к идеям (вернее, к *eidos*'ам, чем бы те ни были) трансцендентального созерцания, — ведь и в том, и в другом случае без перегибов точно не обойдётся. «Половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо её можно преобразовать в военное неистовство и в поклонение вождю» — пишет Дж. Оруэлл, не ведая, видно, о том, что русские раскольники-хлысты, у которых, по мнению как левых, так так и правых историков, большевики ленинского призыва позаимствовали львиную долю своей пассионарности, зачастую чередовали групповые оргии с самым строгим аскетизмом. Однако, тем изощрённее и чудовищнее были революционные методы первых большевиков!

Самоё жизнь (*ta zōē*), а, следовательно, и рассудок, ею непосредственно рождаемый, не имеют и толики представления о безконечном, — при всей онтической укоренённости жизни в разуме (*to nous*)! — так как сие представление отсутствует во взятых порознь явлениях окружающего мира. Рассудок сам по себе, таким образом, ещё может возвыситься до того, чтобы, по-фаустовски, сказать мгновению: «*Verweile doch, du bist so schön!*»,

пленившись его красою, т. е. покойно-величавой соразмерностью окружающего с максимальным охватом субъективного взгляда, — а нечто подобное, согласитесь, всё-таки присутствует даже на вершине сексуального упоения *in riuum*. Но представление-то о вечности, необходимо являющейся этому взгляду вслед за таковой остановкою, даёт *quand-mêте* уже чистый разум! Значит, и более общее представление о бесконечности — удел именно чистого разума, результат его уникальной способности к обобщению. Именно отсюда, что называется, растут ноги у мысли о возможности посмертного бытия индивида:

«Не прикидываясь, а прикидывая,
Не прикидывал ничего,
Покидаю вас и покидаваю,
Дорогие мои: всего!...».

И здесь нет надобности различать нигде на деле не существующее «безграничное» и действительно наличное «бесконечное» (оно же «самозамкнутое»), поскольку и то, и другое не соразмерно субъективному восприятию *an sich*. Иначе рассудку было бы интуитивно понятно, почему, согласно воззрениям топологии, на основании именно этой самозамкнутости (*die Totalität*) бублик и гиря являются по сути одной и той же трёхмерною фигурой, тогда как на самом деле означенное понимание постоянно ускользает от рассудка как такового, будучи достоянием исключительно чистого разума. Вот почему понятие Бога (безспорное, пожалуй, лишь применительно к самозамкнутости *мира* в целом) есть, в гносеологическом его аспекте, только конденсат представления чистого разума о бесконечном как

таковом, без которого, однако, этот разум был бы не в состоянии подвести всё многообразное содержание опыта под единство субъективного восприятия. Следовательно, не будучи в состоянии полностью свести воедино всё многообразие наличного опыта, чистый разум, по-шварцевски, отделяет «умопостигаемую тень» понятия самозамкнутого-безконечного (такова, в частности, природа безконечности числа «Пи» в математике, которое неисчерпаемо лишь в смысле сугубо нумерическом, т. е. довольно абстрактном) в обособленное понятие «безконечного» (безграничного), тихой сапой затем подсовывая его всерьёз растерянному восприятию в качестве панацеи от этого безсилия. Укажем же «тени» её законное место!

* * *

xxii. Если бы человеческое слово *an sich* имело бы столь чудовищную силу, как о том, при всяком своём шаге, талдычат всевозможные эзотерики, правительство любой сколь-нибудь крупной страны мира должно было б всякий раз, где-то через год-полтора после своего вступления в должности, умирать в самых страшных муках, поскольку правительство к этому времени не ругает, как правило, лишь ленивый! *Risum teneatis, amici?* Отсюда, помимо прочего, ясно, что житейская дурь, из-за которой обыватель всегда ругает правительство, заедается здесь, как заедают рыбий жир мармеладной, ещё большею дурью эзотерически возвышенного настроения — заедается сообразно старому, как весь животный мир, инстинкту замещения, открытому ещё отцом этологии, К. Лоренцом.

xxiv. Христианство сделало угрызение совести таким же стержнем своей доктрины, вокруг которого вращается всё остальное, каким в марксизме является классовая борьба. Вопреки здравому требованию принципа Оккамова лезвия, всякий, мало-мальски значительный (а может, и не только значительный?) моральный изъян человеческой природы был провозглашён под именем «беса», самостоятельной сущностью.

На пике умственной монополии христианства, образовавшейся в ходе падения Римской империи, это привело к формированию у мыслящей части общества, не способной, однако, в громадном большинстве своём возвыситься до презрения даже к пагубным требованиям собственной природы, комплекса неполноценности, граничащего с дистонией. Не случайно мир ислама (не говоря уж о мире античном!) не знал феномена массовых плясок святого Витта, поскольку в исламе начисто отсутствует самый институт исповеди, с предшествующим ей обязательным самоковырянием в тёмных закутках души.

Не удивительно, что в конце концов европейское человечество послало христианство и всех его проповедников *de facto* на три весёлых буквы, став лёгкой добычей либерализма, т. е. идеологии победившего мещанства, суть которой, уточняя определение Василия Васильевича Розанова, можно описать фразой: «Ни богов, ни бесов. Мы будем торговать, а всё остальное не важно. Но так как всё остальное не важно, то пусть разлетится

вдребезги (да, да, тò самое, штурмовицкое: „...wenn alles in Scherben fällt“!) всё, чтò мешает нам торговать». Таким образом, христианство, поскольку оно проложило торную дорожку либерализму, навсегда должно остаться под величайшим подозрением со стороны здравого рассудка (der Verstand), как посягающее самые основы его здоровья, а именно, на членораздельность его образов (die Verspiegele). Ибо христиане объявили по сути, что душа (ta psyché), хоть и обладает свободой выбора, но, вопреки, в частности, платоновскому «Федру», сама по себе совершенно проста, т. е. не-членораздельна (ta psyché atómata plérou), а всё злое в ней привнесено извне бесами-искусителями. Но как можно получить представление (die Verspiegelung) о том, что пред тобою — многое (ведь, когда есть выбор, выбираешь именно из многого), не будучи сам при этом ни в каком отношении многим? Значит, душа, поскольку она обладает возможностью выбора, отнюдь не есть нечто совсем уж простое.

Какой из всего изложенного можно сделать вывод? Ну хотя бы вот такой: «Хотя наличие совести и является неотъемлемым качеством любого честного человека, но „бойтесь данайцев, дары приносящих“».

* * *

xxv. Полностью прав д-р Й. П. Геббельс, отмечая в своём «Михеле»: «Мы, немцы слишком много думаем». Ибо из-за слишком подробного мышления о чём-либо, самый ход сего мышления постепенно утрачивает всякую прямизну, становясь до-нельзя извилистым, а мыслящий субъект при

этом делается ярким адептом скверно доказуемых теорий, вроде расового превосходства арийцев и их гиперборейского происхождения, и вместо того, чтобы, как то всегда делают янки, просто по-полной вложиться в развитие военной техники (именно «Монхеттенский проект», тяжёлые бомбардировщики etc.), уповает в сугубо средневековой манере, в первую очередь, на крепость рыцарского духа своих асов.

И русский, при всей его склонности долго «запрягать», зачастую успевает как следует, что называется, «умыть» немца именно из-за этой привычки последнего считать хорошим доказательством лишь сложное доказательство. Ибо пока немец, тем или иным способом, проверит истинность всех его звеньев, русский уже «запряжёт» свою славную «птицу-тройку», и помчит на ней во весь опор, сметая по-ходу весь извилистый вздор его, хвалёных большей частью Европы доводов.

* * *

xxvi. Попытки либералов доказать, что демократия есть единственная сколь-нибудь долговечная и при том неизменно прогрессивная форма общественного устройства сродни по своей структуре за уши притянутому Готфридом Лейбницем доказательству того, что явленный мир есть лучший из возможных миров. Ведь в обеих этих «доказательствах» обладающая очевидными изъянами вещь выдаётся за предел возможного совершенства на том лишь основании, что в наличных условиях полное совершенство (to kalós plērón) an sich невозможно. Но, согласно теореме Гёделя, крен чего-либо в одну сторону а

ргіогі полагает неотменимое присутствие (для обозначения чего лучше всего подошло б немецкое «die Einschließung», т. е. «непрерывная включённость» но также и «решимость»), при сравнительно небольшой перемене условий, возможности его же крена в сторону противоположную; причём усиливается последний зачастую именно из-за наступления избытка того, чего так остро недоставало прежде. К примеру, Ф. Достоевский в своём дневнике утверждает (что в общем верно), будто затяжной мир ведёт общество к утрате всякого представления о чести как таковой, — так получите же войну, затянувшуюся лишь немногим дольше, чем предполагалось начавшими её правителями, и увидите полную утрату сострадания преимущественно на основании непомерно раздутого представления о чести!.. Поскольку к этим представлениям волей-неволей примешалась, пусть и не очень пока большая, но всё ж толика, остервенения из-за резко ухудшившихся условий всей жизни сверху донизу:

«Гусары, драгуны — героев несчесть,
И каждый сражаться готов...
Имперская доблесть. Дворянская честь...
Ряды деревянных крестов».

Но ведь точно также обстоит дело и со всяким мало-мальски значимым общественным (да только ль общественным?) начинанием — за редчайшим исключением, все они ужасно подвержены действию принципа: «Хвост вытащили, нос завяз; нос вытащили, хвост завяз».

А, следовательно, явленный мир — отнюдь не наилучший из возможных, но очень во многом, если ни во всём, подобен

знаменитой колокольне на Поле чудес (Piazza dei Miracoli) в Пизе, что держится в относительно вертикальном положении не вполне понятно, на за счёт чего именно...

Скорее всего, держится она на честном слове свего Творца, который, как из этого примера ясно, решений своих всё же не меняет, а ежели и меняет, то делает это крайне редко и неохотно... То же, что мы, по своему скудоумию, сплошь и рядом принимаем за разрозненные и даже противоположно направленные процессы, для Него — лишь разные грани, либо стадии одной и той же деятельности (ta enérgeia). Омар Хайям отчётливо проговаривает это в совершенно изумительном по своей красоте уподоблении:

«Этот мир, эти горы, леса и моря —
Как волшебный фонарь; словно лампа — заря...
Жизнь твоя — на стекле нанесённый рисунок,
Неподвижно застывший внутри фонаря».

Но кто в полной мере познал все извивы Его Воли?.. Так что всё же прав отечественный поэт:

«Покуда в вечной суете
Не надоест Земле вращаться
Всегда рискуешь оказаться
Иль под щитом, иль на щите».

Ну а разделяет Творец что-либо целое до того момента, только в силу того, что вынужден приноравливаться к ставшему всеобщим (в гегелевском смысле) мышлению твари о той или иной вещи, как о полностью разделённой, поскольку для Него мыслимое и мысль всегда совершенно тождественны. Не спроста же, в частности, сказал, кто-то очень не глупый (возможно тот же Оруэлл, но точно — увы!

— не помню), что испанская гражданская война 1936 года началась именно тогда, «...когда [в стране] не осталось ни одного католика, читающего [хоть изредка] республиканские газеты, и ни одного республиканца, [также изредка] читающего газеты католические» — т. е. когда и в самых головах людских не осталось ничего, что бы основательно, а не как пренебрежимо малая величина, противостояло бы сугубо военному ходу мысли.

* * *

ххvi. Мальчишка, которого хотя бы два раза в год не хотелось бы за его проделки выпороть розгами, как сидорову козу, есть нечто не вполне здоровое, душевно вялое. Однако в тихих омутах этих душ зачастую водятся отнюдь не хилые черти, полностью вылезаящие на поверхность уже в зрелом возрасте.

Здесь, не говоря уж о сугубо клинических случаях, вроде, наделавшей некогда шуму истории майора милиции Дениса Евсюкова, следует вспомнить Георга Гегеля, чуть ли не с рождения бывшего образцово-показательного поведения мальчиком, обожающим книжки с назидательным финалом и, больше того, стремящимся извлечь назидание даже там, где авторы и не собирались ничему учить читателя, желая его лишь малость поразвлечь; Гегеля, позднее принимавшего участие в студенческих волнениях лишь за компанию (так за компанию, как говорят в народе, и жид удавился). И этот самый вчерашний пай-мальчик, уже будучи маститым берлинским профессором, наотрез откажет в каком-либо воспомоществовании своему, вконец издержавшемуся, внебрачному сыну, плоду мимолётной

интрижки двадцатилетней давности. В результате, несчастный юноша, чтоб не помереть с голоду, будет вынужден записаться, если только меня не подводит память, во французский Иностранный легион, и безславно погибнет в дали в дали от Родины, где-то в субтропиках... В столь непорядочном поведении даже гениев — а в наличии богатого внутреннего мира именно у гениев-то сомневаться не приходится! — мужского пола с огромной вероятностью следует винить то, обстоятельство, что кругозор мужчины обыкновенно, в силу его большей пассионарности, далеко выходит за рамки женского, в естественном своём состоянии ограниченного семьёю с её окрестностями; посему стремясь объять необъятное и постоянно спотыкаясь о неудачи на этом поприще, мужчина волей-неволей становится большим эгоистом, чем его жена или подруга, *par excellence* не ставящая перед собою невыполнимых задач. Ввиду чего, весьма точно подмечает Варлам Шаламов: «Женщины порядочнее, самоотверженнее мужчин — на Колыме нет случаев, чтобы муж приехал за женой. А жены приезжали, многие» (см. очерк «Зеленый прокурор»).

Уэльбек же в ряде мест «Платформы», «Покорности» и особенно, «Возможности острова» добавляет к сказанному Шаламовым, показывая это ходом действия и высказывая в виде весьма прозрачных намёков во внутреннем монологе основного персонажа, что когда степень женского эгоизма и непорядочности в пресыщенном благами цивилизации обществе, сравнивается с мужскою, распад и деградация общества делаются необратимыми, поскольку исчезает

семья в качестве основного места обучения индивида навыкам общего дела как такового. Государство же, из всех сил пытающееся заменить собой семью в этом её качестве, не в состоянии справиться с поставленной перед собой задачей, поскольку лишившись, по Аристотелю, своей целевой причины, а именно общего дела со всеми его многочисленными подробностями, само постепенно (впрочем, довольно-таки быстро по историческим меркам!) повисает в воздухе, становясь, следовательно, сугубой фикцией, или — что будет точнее — своего рода ширмой в руках тёмных исторических сил, которые детский писатель В. Крапивин несколько тяжеловесно именовал выражением «те, которые велят», а русский мещанин начала прошлого столетия не совсем безосновательно считал жидомасонами. Но об этой я уже я писал в другом месте.

Итак что за картина получилась в итоге?

Женщина, оставив функцию хранительницы семейного очага, уйдя почти всецело в жизнь гражданскую, осознаёт в конце концов, что никакой гражданской жизни, кроме подковёрной грызни меж собою «тех, которые велят», в действительности уже не осталось, не в силах воссоздать семью ввиду утраты основных навыков непрерывного труда в поте лица и непрерывного же смирения перед нуждами общего дела, уходит с головою в поиск приключений à la époque galantés, ещё недавно постыдных. Мужчина же, напротив, стремясь поначалу, подобно древнему Агриколе, уйти в частную жизнь и видя, что очага больше нет, погружается, если обладает рационально-техническим складом ума, в ещё более тяжкие блуд и

пьянство — только б забыться; либо, если по складу ума он поэт иль уже пропил мозги, — в бездну религиозного фанатизма. Ибо, находясь в здоровом и, главное, пронизательном рассудке (*der Verstand*), трудно, согласитесь, поверить в существование всеблагого и всемогущего Бога, допускающего медленное гниение заживо целых народов. Так что для огромного большинства современных европейцев Бог всё-таки скорее мёртв, чем жив... А в общем мироощущении современного западного человека может быть отлично выражено следующим псевдоцыганским напевом:

Что с вином, что без вина —
Всё на сердце косо вато.
Лезут в номер из окна
Бесенята, бесенята!..

Переулочки, перекрёсточки:
Растерялися мои косточки —
Мне б по горсточке
Себя самого
собрать...».

* * *

ххvii. Вопиющий эстетический диссонанс. Смотрел вчера «бойскаутские» иллюстрации Пьера Жубера и, наконец, понял, чем же они так отвратительны: все они, по сути, точно такой же *apothéosis* мальчишеской телесности, как эротические рисунки Тома Финляндского — телесности мужской. Шариковкое хамство, обвившееся вокруг себя тройным узлом — вот что это такое! Кант говорит: «Самоё

существование факта необратимости времени, как *argès tout* стремления всего телесного в подлунном мире к смерти, есть величайшее (ибо имеет сугубо трансцендентальный характер!) оскорбление для человеческого духа и чистого разума (*für der menschen Geist und für die reinen Vernunft*)». А хамоватый психопат Ницше (весьма вероятно, под антидепрессантом) отвечает ему на это глупейшею бальзаминовской фразою: «А я, маменька, этого на свой счёт не воспринимаю». И это отнюдь не презрение к смерти, как кажется поверхностному наблюдателю, но попросту неслыханно наглое отфутболиванье самой мысли о ней. Хамства столь высокого уровня не знала даже поздняя античность, до последнего вздоха своего всё же немедля срывавшая с себя шляпу при упоминании гения Эврипида. Не воспринимает же Ницше этот посыл опираясь на своё учение о Вечном Возвращении Всех Вещей На Круги Своя. Но, чтобы Возвращение было в самом деле Вечным, в центре мировой круговерти непременно должно находиться нечто совершенно незыблемое (ну хотя бы телепатическая связь всех субъатомных частиц Вселенной в теореме Белла), существования чего в своей картине мироздания Ницше, однако, допустить не может, поскольку оно, в силу своего всеобъемлющего характера, заставило б его, да и всякого другого тоже, навсегда похерить самую мысль о произволе индивида, коя *quand-même* есть основание этики. Из любимого мною Омара Хайяма:

«Много ль проку от наших молитв и кадил?

В рай лишь тот попадёт, кто не в ад угодил.

Что́ кому на роду предназначено будет —

До начала творенья Господь утвердил!».

И ежели западная публика с середины XIX века, чем дальше, тем больше, предпочитает всевозможных жуберов Рембрандту, у которого, напомним, проработка проблемы необратимости времени является лейтмотивом всего зрелого и позднего творчества, то публика эта — дура, и о её исторических перспективах можно сказать (быть может даже с ещё бõльшим основанием!) высказанное покойным А. Градским о советской общественности: «Мы не сладили с эпохой, / Потому что всё нам пох-ю».

*** * ***

ххviii. Если ядерной войны всё же не будет, то — Как ни парадоксально это выглядит?! — по той же, в сущности, причине, по которой она, чуть при иных условиях, неминуемо произойдёт: «Бытие слишком быстро ничтожит» (коль выразить эту причину в терминах М. Хайдеггера). То есть время бежит так быстро, что даже дальновидный и пронизательный наблюдатель оказывается не в состоянии осознать степени суетности окружающего, от чего та растёт, как на дрожжах. Именно: среди тех, от кого здесь хоть что-то зависит, не остаётся никого, кто мог бы возвыситься в отношении наличного в мире порядка вещей, каким бы отвратным этот порядок ему ни представлялся, до высоты карандышевского: «Так не доставайся же ты никому!».

Умы, характеры, отдельные поступки и мысли измельчали предельно, т. е. до того уровня, о котором очень метко сказал социал-демократический писатель-фантаст В. М. Рыбаков: «[Эти невообразимые] ублюдки (...) мелко и гнусно тянут всё только на себя, на себя, на себя...».

* * *

ххix. Ежели меня спросят: «В чём основной смысл Белого дела?», я без колебаний отвечу следующим воспоминанием. Осенью, наверное, 1981 года (во всяком случае, главой советского государства был ещё Брежнев), наблюдал я, проходя мимо нашего Фрунзенского универсама, открытого в 64-м, но только что получившего свою единственную правительственную награду (кои, напомним, в те времена вручались массово целым предприятиям, а не токмо физическим лицам!), а именно, орден «Дружбы народов», — наблюдал я, стало быть, весьма сюрреалистичную для людей, не заставших Совдепа, картину: В витрине, сугубо продовольственного тогда, магазина — ни единого съестного продукта, зато на самом видном месте висится наполовину развёрнутое, вишнёвого бархата, переходящее красное знамя с вышитым по середине тёмным золотом профилем Ильича и, — разумеется! — прикреплённым у самого жёстяного звёздно-серпасто-молоткастого навершья, вождённым орденом!..

Так вот, господа, основной смысл Белого дела состоит именно в том, чтоб на витрине продовольственного магазина всегда было именно продовольствие, то бишь, попросту, съестное, а не какие бы то ни было, даже самые, что ни на есть заслуженные заведением, призы. Ибо это, япона вошь, — именно продовольственный магазин, а отнюдь не выставка породистых собак!